

В изображении любви у автора
мало отыщется конкурентов.

«Московский комсомолец»

ИРИНА



Муравьёва



Барышня

Ирина Лазаревна Муравьева
Барышня
Серия «Семейная сага», книга 1

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=419972
Барышня: Эксмо; Москва; 2010
ISBN 978-5-699-43869-3

Аннотация

Вчерашняя гимназистка, воздушная барышня, воспитанная на стихах Пушкина, превращается в любящую женщину и самоотверженную мать. Для её маленькой семейной жизни большие исторические потрясения начала XX века – простые будни, когда смерть – обычное явление; когда привычен страх, что ты вынешь из конверта письмо от того, кого уже нет. И невозможно уберечься от страданий. Но они не только пригибают к земле, но и направляют ввысь.

«Барышня» – первый роман семейной саги, задуманной автором в трёх книгах.

Ирина Муравьёва

Барышня

В этот день, то есть седьмого февраля 1914 года, в Москве была сильная метель. Всё двигалось под серебром и если замирало, то на секунду, а через секунду опять вспыхивало, рвалось снизу вверх, откуда валило, слепило, откуда неистово жгло белым ветром.

Дом на Плющихе, в котором жил доктор Лотосов, был двухэтажным деревянным домом, зимой в нем топили кафельные печи, а лестница черного хода вся благоухала промерзшей капустой, дровами, смолой и запахом снега.

Вряд ли я успею одолеть это расстояние – от метели 1914 года до пасмурного июня 2009-го, – хотя там, наверху, верно, скажут, что это и не расстояние вовсе. Тогда шел, шел снег и стучали пролетки, а нынче оплакивают Майкла Джексона, который был маленьким черным мальчишкой и звонко пел песни, потом вдруг явился неведомо кто – наверное, ночью явился, украдкой, – убил первым делом мальчишку, перед смертью наобещав ему молочные реки, сахарные горы, дома из попкорна и много игрушек, – убил, закопал, где нога человека отнюдь не ступала (а зверя – подавно!), и вместо убитого вырос костлявый, белей алебастра, с приклеенным носом. Сказал, что он – Майкл, фамилия – Джексон. И стали вокруг бесноваться и хлопать.

А так всё на свете. Все были детьми, попадали под дождик, все рвали цветы и орали от боли. Потом всех убили и всех закопали. Остались деревья и виды предместий. И главное, так удивительно скоро!

В феврале 1914 года, за много лет до того, как отправили в пустоту и там, в пустоте, умертвили несчастных: животное Белку, животное Стрелку, – за много лет до того, как началась война в Афганистане, вышел на экраны фильм «Анна Каренина» и начали сперму вливать из пробирок в чужое покорное женское лоно, короче, задолго до всех наших бедствий – задолго до бомб, лагерей, трансплантаций – был дом на Плющихе.

Александр Данилыч Алферов, муж Александры Самсоновны Алферовой, чье имя носила женская гимназия, в которой училась Таня Лотосова, преподавал литературу в старших классах, и барышни тихо его обожали.

– Дело в том, – сказал Александр Данилыч, – что Пушкин перед смертью очень сильно страдал. Я надеюсь, что никому из нас, – он оглядел бледных от зимнего света, прелестных своею застенчивой молодостью гимназисток, – надеюсь, что никому из нас не выпадет того физического страдания, через которое он прошел.

И кивнул на портрет великого поэта работы Тропинина, в стекле которого ритмично отражался падающий снег.

– Он был открытым человеком, – сказал Александр Данилыч, – гениальные люди открыты и просты душою. В ран-

ней своей молодости он ходил к гадалке Александре Филипповне Киргхоф, которая нагадала ему смерть «от белой головы», поэтому он всегда опасался блондинов и был суеверен до крайности. В таком случае, зачем же ему было возвращаться обратно за шубой, когда он ехал на Черную речку? Ведь это плохая примета! Он вышел в бекеше и вдруг возвратился. Велел подать себе в кабинет большую шубу и, надевши ее, пошел пешком до извозчика. Зачем же? Ведь он не искал себе смерти. Я очень прошу вас не верить, что Пушкин искал себе смерти. Я думаю вот что: он просто решил не бояться. Высокие душою люди часто осознают, что жизни бояться не стоит. Грешно. И это, я думаю, есть вера в Бога.

Александр Данилыч вопросительно приподнял брови, но в классе была тишина.

– Да, это есть вера. Поэтому, когда вам будут говорить, что он не справился со своим африканским темпераментом, я очень прошу вас заткнуть себе уши.

Он потер лоб и снял очки. Без очков глаза его стали немного испуганными.

– Когда человек проходит через душевные страдания, он приобретает опыт смерти. А когда он проходит через страдания физические, то опыт жизни.

Перед ним сидели бледные от снежного света девушки с погрустневшими лицами. Они его не понимали.

– Представьте себе, – сказал Александр Данилыч и снова

надел очки, – весь снег был пропитан кровью. Тянулся густой красный след от вмятины на снегу, которая образовалась, когда Пушкин упал, и до самых саней.

Гимназистки вздрогнули, у многих из них увлажнились ресницы.

– Его везли с Черной речки до Мойки не менее часа, в полусидячем положении, и часто останавливались, поскольку он все время терял сознание. Никаких приготовлений к тому, чтобы доставить раненого, не было произведено. Носилок и щита не было, поэтому поначалу Пушкина с раздробленным тазом просто волокли по снегу, как раненого зверя, затем положили на шинель. Но долго нести его в таком положении не смогли. Тогда секунданты и извозчики разобрали забор из тонких жердей и подогнали сани.

Александр Данилыч тяжело вздохнул и еле заметно всхлипнул, как это иногда случалось с ним от сильного волнения. Гимназистки под партами сжали руки на коленях.

– Он сильно страдал, – продолжал Александр Данилыч, нимало не заботясь о том, что школьный урок превращается в проповедь. – Сохранилось официальное донесение о дуэли, и я вам его прочитаю: «Полициею узнано, что вчера в пятом часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского Ее Величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навывлет

и получил контузию в брюхо. Господин Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством господином лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни...»

Барышни переживали не столько за Пушкина, раненного в брюхо, что было давно, и он не испытывал больше ни боли, ни страха, сколько за самого Александра Данилыча с его темно-рыжей кудрявой бородкой и испуганными глазами.

– Но дело совсем не в стихах! – таким тоном, словно с ним кто-то спорил, сказал Александр Данилыч. – Литература есть не что иное, как верная догадка о жизни. Вы можете и вовсе забыть о стихах! Но я бы просил вас запомнить *страдания...*

Если бы залетела в натопленную классную комнату – в гимназии Алферовой не сэкономили на дровах – чудом выжившая в суровое время года, пушистая, черная с золотом муха и сладко бы стала жужжать и кружиться, то всякий услышал бы это жужжанье: такая была тишина.

– Хотел вам еще один портрет показать, – вздохнул Александр Данилыч, доставая из своего потрепанного портфеля небольшой холст без рамки. – Я заказал копию, а оригинал поступил в музей Александровского лицея лет двадцать назад, может, даже и больше. Подписано странно: «И. Л.». Считается, что живописцем был некто Линева Иван Лонгинович.

На темном холсте изображался Пушкин со взглядом страдальческим и обреченным, которым он видел, как всё это бу-

дет: и снег, пропитавшийся красною кровью, и тяжелое дыхание секундантов, которые затаскивали его на мерзлую шинель, а кровь заливала их руки, и бешеные глаза лошади, рванувшейся в сторону, когда его стали усаживать в сани и шубу, намокшую кровью, набросили на ноги...

* * *

Давали прекрасную оперу Глинки «Руслан и Людмила». Что может быть лучше театра, Большого театра, когда всё завалено снегом, и черное небо чудесно мерцает, и все эти слабые дымные звезды, наверное, знают какую-то тайну, но всё на другом языке, не на нашем... Что может быть лучше театра с его бархатными ложами, внутри которых белеют открытые спины с угловато выступающими лопатками, вспыхивает изредка маленький перламутровый бинокль, поднесенный к глазам, или особенно крупное драгоценное украшение на вытянутой, как у лебедя, шее? А запах в фойе шоколада Сушар? А запах мороза, врывающегося с улицы в открытую лакеем дверь, если какой-нибудь особенно нетерпеливый зритель вдруг покидает представление и устремляется в темноту? Пахнёт снежной пылью, и дверь затворится. И нет человека, растаял.

Татьяне Лотосовой, молодой, только окончившей гимназию барышне, было немного неловко оказаться в театре одной, без подруги, которая, будто назло, заболела и кресло

которой теперь пустовало. Но постепенно она освоилась, поправила косу с черным бантом и стала внимательно следить за оперой. Когда во втором акте на сцене появилась огромная голова и начала дуть на витязя с такой силой, что волосы женщин, сидящих в первых рядах партера, слегка разлетелись, Татьяна Лотосова почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она скосила глаза. Между нею и незнакомым господином с открытым высоким лбом и мелкими, как у ягненка, кудряшками над ним стояло пустое тяжелое кресло. На левой ручке кресла почти невесомо лежал девически-острый локоть Татьяны Лотосовой, на правой – рука господина с худыми и длинными пальцами. Он заметил, что она перехватила его взгляд, и вдруг улыбнулся, спокойно и вежливо. Она растерялась сначала, но тут же подумала, что если тебе улыбается сосед, с которым вы вместе слушаете оперу, отвернуться от него, изобразив удивление, есть верх неприличия, ибо ничто не сближает незнакомых людей так сильно, как музыка. И Таня сама улыбнулась соседу – с испуганной робостью, но улыбнулась. Когда полногрудая, пышноволосяя, в больших жемчугах и рубинах Людмила допела всю оперу вместе с Русланом и с шумом, похожим на шум океана, задвинулся занавес, незнакомый господин, похожий немного на Пушкина с портрета живописца Линева, пересел на пустое кресло рядом с Таней и что-то спросил у нее. Вокруг громко хлопали, трещали веерами, переговаривались, и Таня его не расслышала. Она покраснела почти до слез.

– Прекрасная опера! – близко наклоняясь к ней, сказал он. – Давно так прекрасно не пели!

– Да, – хрипло от волнения ответила она. – Мне тоже понравилось.

Вместе они вышли в фойе, вместе отразились в большом и тоже как будто взволнованном зеркале и, наконец, когда Таня Лотосова продела руки в узкую, с белыми хвостиками, муфту, а господин, не отстающий от нее ни на шаг, надел теплое пальто с меховым воротником, они вместе вышли из театра.

Выталкивая колкое от холода дыхание, незаметно дошли до Плющихи, и меховой воротник на пальто господина – как было положено – засеребрился сквозящей морозною пылью. Таня узнала, что нового знакомого ее зовут Александром Сергеевичем Веденяпиным, он служит врачом в психиатрической лечебнице Алексеева, имеет сына, чуть помоложе, чем Таня, и по роду своей деятельности нередко сталкивается с молодыми людьми, решившими по той или иной причине добровольно уйти из жизни. Почему Александр Сергеевич вдруг начал посвящать ее в подробности своей медицинской практики, она догадалась не сразу, но слушала с очень большим интересом, нисколько не меньшим, чем оперу Глинки. Александр Сергеевич объяснил ей, что если родственникам или друзьям удастся спасти такого молодого человека, вынув его из петли или ухватив за полу пальто, когда он останавливается на самом краю обрыва, желая шагнуть и

погибнуть в пучине, – то роль Александра Сергеевича не заключается только в том, чтобы напичкать спасенного порошками и пилюлями, а в том, чтобы, поговорив с ним наедине, раскрыть осторожно смятенную душу, как какой-нибудь скользко-загорелый, с острыми ребрами и большими зубами островитянин, нырнув глубоко в океан, раскрывает опутанную водорослями почерневшую раковину в надежде увидеть жемчужину.

Александр Сергеевич относился к своим обязанностям ответственно и в первый же вечер знакомства признался Тане, что ни опыт его грустной, хотя и весьма однообразной работы, ни долгие годы одних и тех же разговоров не убили в нем сострадания к безумцам, попадающим в городскую лечебницу Алексеева, и потому он всякий раз с любопытством и добротой выслушивает сидящего перед ним на казенной койке пациента. Хотя – если честно признаться – хорошего тут не услышишь, одна чепуха и расстройство рассудка.

Восемнадцать лет назад, когда он только начинал свою практику, в больницу была на извозчике доставлена молодая девушка, отравившаяся спичками.

– Я увидел ее, – сказал Александр Сергеевич Веденяпин, и снежный сгусток, сбитый с дерева порывом ветра, опустился на его плечо, подобно убитому голубю, – и... Этого не скажешь словами! Вот говорят, что можно полюбить с первого взгляда. Это чепуха. Можно другое: потерять себя. Вот, скажем, ты жил, дышал, бегал, занимался своими делами, и

вдруг тебя как будто схватили за руку. Стой и смотри. А всё остальное неважно. Вот так и со мной: я стоял и смотрел. Она спала, бледная, губы запеклись, руки – тоненькие-тоненькие, а сколько при этом детской свежести, сколько беззащитности было в ней! И жилка на шее. Я на какую-то секунду вообще перестал различать всё остальное, только эту синюю жилку...

Он замолчал и вытер лоб под шапкой.

– Не скучно вам? Вы не замерзли?

Она затрясла головой.

– А снегу-то сколько! – пробормотал Александр Сергеевич. – Вам нравится снег?

– Мне – снег? Нет, не очень. А что было дальше?

Александр Сергеевич вдруг весь осветился вспыхнувшей улыбкой.

– Через неделю я предложил ей свою руку. У нее незадолго до этого умер отец, и она была влюблена в молодого человека, который довел ее до попытки самоубийства. У них были отношения, и ей показалось, что она беременна. А когда она сказала ему об этом, он ответил, что может найти хорошего доктора, чтобы тот освободил ее от плода. Тогда она решила отравиться, но ее вовремя спасли.

– Если она влюблена была в другого, так как же она вышла за вас? – испуганно спросила Таня, оторопев от всех этих произнесенных им подробностей.

– О, это прекрасный вопрос! Не в бровь, а вот именно в

глаз! Почему она вышла за меня? Потому что я умолял ее об этом. Многие считают, что после занятий в анатомическом театре все романтические призраки улетучиваются, но это не так, они ошибаются: со мной, во всяком случае, этого не случилось. Я был и, боюсь, остался законченным романтическим идиотом. А вот приятель мой – тот действительно перестал даже смотреть на женщин после того, как мы произвели в морге несколько первых резекций. В каждой хорошенькой барышне ему начали мерещиться будущие покойницы. Вы спрашиваете, почему она согласилась? А как же ей было не согласиться? Любовник ее исчез, курс она кончила, деньги, которые оставил отец, оказались ничтожными. И тут появляюсь я. Молодой врач, с неплохой уже практикой, влюбленный к тому же без памяти. Рыцарь, короче. Что ж было не выйти?

– Она совсем-совсем не любила вас? – сильно покраснев в темноте, спросила Таня.

– Н-н-не знаю... До самой свадьбы она не разрешала мне даже поцеловать себя, только руку... И то как-то с болью, как будто насильно...

Тут Александр Сергеевич вспомнил, что разговаривает с молодой девушкой, и осекся. У Тани, несмотря на холод, горело лицо так, как это бывало только после долгого катания на коньках под громкие вальсы зачоченевшего оркестра.

– Ну, что говорить! Через полтора года у нас родился сын, и она, несмотря на свою нервность и непомерное вообра-

жение, оказалась хорошей, заботливой, хотя, к сожалению, слишком заботливой матерью.

– Что значит – слишком?

– Она постоянно боялась. Всякий раз, когда мы уходили в гости или в театр, становилась сама не своя, подъезжая обратно к дому. Ей все время казалось, что в наше отсутствие с ребенком должно было произойти несчастье. Она совершенно забывала о себе, когда он, например, заболел, и могла встретить доктора в ужасном, растерзанном виде... Успокоить ее было почти невозможно. Но главное – ревность. С самого первого дня она начала ревновать сына ко мне, и, чем больше он подрастал, тем ужаснее становилась эта ревность. Я всё время проводил в больнице, даже по ночам меня таскали к больным, и сын, для которого почти не оставалось времени, очень радовался, когда я урывал минутку, чтобы поиграть с ним. А у жены началась какая-то прямо мания, что я отбираю у нее ребенка и даже настраиваю его против нее. Ему было, кажется, одиннадцать или двенадцать лет, когда я взял его с собой в поездку по Волге. Собралось несколько моих коллег, и мы отправились. Заняло это неделю, если не меньше. На следующий день после нашего возвращения жена закатила мне дикую сцену. Она кричала, что Васю нельзя узнать, он грубит, не дает прикоснуться к себе, обнять, и всё это сделано специально мной, и вся поездка была придумана только для того, чтобы отвратить его от матери.

Александр Сергеевич опять вдруг замолчал.

– Замучил я вас, – прошептал он, близко наклоняясь к ней и всматриваясь в ее лицо.

– Нет, что вы! – сказала она.

– Конечно, замучил. Потерпите немножко, история не особенно длинная. С прошлого лета в нашем доме стало просто нечем дышать. Она следила за Васей, следила за нами обоими, выкрала даже Васин дневник, потом, правда, очень сама переживала, проплакала несколько дней.

– Бедная! – вздохнула Таня.

– О, да! Кто же спорит! В конце концов, она потребовала, чтобы я снял ей квартиру, куда она намеревалась перевезти Васю и спасти его от моего ужасного влияния. Страшный это был разговор... Сначала она кричала, нападала на меня, потом стала упрашивать, упала на колени... Я, разумеется, отказал ей решительно и предложил ехать за границу лечиться... Но тут выяснилось еще одно грустное обстоятельство...

Он снял перчатку и стряхнул с плеча снег. Таня почти перестала дышать.

– Выяснилось, что она и в самом деле больна, тяжело больна. Она и раньше уже кашляла, но тут ей стало совсем плохо. Внезапно похудела так, что узнать нельзя. Я пригласил своего коллегу, замечательного диагноста. Он установил у нее рак правого легкого. Запущенная опухоль, оперировать поздно, и жить ей осталось недолго.

– О господи! Что же вы сделали?

– Я пообещал, что сниму ей квартиру, но с одним услови-

ем... Не знаю, может быть, именно это и было моей ошибкой... Какие условия можно ставить умирающему человеку? А я потребовал, чтобы она немедленно ехала лечиться в Германию и находилась там до полного выздоровления.

– Но вы же сказали, что она не может выздороветь!

– Я обманул ее. Мне важно одно: чтобы она уехала.

– Но как же? Ведь это жестоко?

Александр Сергеевич опять улыбнулся сквозь снег.

– Жестоко! А что это значит – жестоко?

– Это когда кому-то больно, а ты виноват, – пролепетала

Таня.

– А всем всегда больно, и все виноваты, – оборвал ее

Александр Сергеевич, но тут же опять улыбнулся. – До этих вещей дорастают, поверьте.

– Неправда! Что это вы такое говорите!

– Ну, дай бог, чтобы я ошибался, – коротко согласился он.

– Где она сейчас, ваша жена? Она еще жива?

– Жива, разумеется. Я снял ей квартиру в Мерзляковском переулке. Василий наотрез отказался жить с ней. Я просил ее, чтобы она уехала не позднее начала января. Она до сих пор не сказала мне ни «да», ни «нет». Не знаю, как долго всё это продлится... Хотя мне и стыдно того, что я думаю об этом... Ну, как объяснить вам? Бессердечно, наверное...

– Вы что, не встречаетесь с нею?

– Теперь она уже и сама не хочет видеть ни меня, ни его.

Сын позвонил ей несколько дней назад по моему настоянию.

Она кричала, что ненавидит нас обоих, что я всегда был чудовищем и мне удалось вырастить такое же чудовище из него... После этого он несколько ночей не мог спать...

Таня прижала ладони к горячим щекам.

– Прошу об одном: чтобы Господь дал ей умереть спокойно, – сказал Александр Сергеевич.

– Вам жалко ее?

Он удивленно приподнял брови:

– Иногда смерть есть не только единственный, но и самый лучший выход.

– Неправда! – возразила Таня. – Как можно сказать за кого-то другого, что ему лучше умереть? Когда он не хочет?

– Ну, это вопрос философский... – Он опять стряхнул снег, не глядя на нее.

Она притихла.

– А можно мне будет увидеть вас завтра? – вдруг спросил он после паузы.

Таня растерялась.

– Не бойтесь меня, – усмехнулся Александр Сергеевич, – у меня и в мыслях нет обидеть вас.

– Мне кажется, это неловко, – с заминкой сказала она. – Как это – увидеть?

– В кофейне Филиппова, – просто сказал Александр Сергеевич. – Вы любите горячий шоколад? Я очень люблю. Особенно когда на улице зима. А чтобы вам было спокойнее, я приведу своего Васю. Он милый парнишка, дичится немно-

го...

Они стояли перед ее домом. В ватной темноте одна за другой гасли лампы. Таня наконец спохватилась, что опера давно закончилась и отец должен волноваться.

Ночью она долго не могла заснуть, всё мешало ей: и влажное бормотание няни, спавшей в соседней маленькой комнате, и шаги отца, которыми он отмерял расстояние от двери до окна, и даже бесшумный, сияющий снег, засыпавший тихую улицу. История, рассказанная только что Александром Сергеевичем, вызывала у нее животный страх.

* * *

У матери Тани давно была другая семья и другая дочка, которую Таня ни разу не видела. Из тех осторожных объяснений, которые несколько лет назад предложил отец, Таня поняла, что мать вышла за ее отца с горя, любя другого человека, который не захотел жениться на ней против воли своих очень упрямых родителей. Но через три года упрямые родители умерли один за другим, и тут нерадивый влюбленный явился к ним в дом, на Плющиху. Он прошел к отцу, заперся с ним в его кабинете, потом прислуга и няня слышали, как он рыдал там, за запертой дверью, и отец терпеливо просил его успокоиться, а он всё рыдал, объясняя свое невыносимое положение, признаваясь, что Танину мать любит очень давно и эта любовь их взаимна, поэтому просит простить, дать

развод, но тут он совсем задышался,пил воду и кашлял.

Развод состоялся, но Таня осталась с отцом. Это было условием.

Лет в тринадцать какой-то бес словно обуял ее: она стала приставать к отцу, требуя от него объяснений, почему мать ушла и бросила их, задавала нелепые вопросы, мучилась сама и мучила отца, который повторял одно и то же: всё правильно, всё произошло так, как нужно, ведь брак без любви вызывает болезни, и он это знал еще раньше, когда был простым медицинским студентом.

– Но почему она бросила *меня*? *Меня-то* как она могла бросить?

– Но как же ей было уйти и одновременно остаться с тобой? – Отец так сильно морщился, что на его лбу собирались розовые бульдожьи складки. – Ты после поймешь, когда вырастешь.

Она почувствовала, что ничего не добьется от него, и перестала спрашивать. И перестала думать о матери, но иногда на нее наплывало какое-то не воспоминание даже, но запах цветочных духов, или она вдруг чувствовала в руке что-то гладкое, круглое и вспоминала, что это, должно быть, та пуговица, в которую она, уже лежа в кровати и засыпая, крепко вцепилась однажды, чтобы не дать матери уйти, и в конце концов оторвала ее вместе с куском ткани.

Еще вспоминался другой эпизод.

Отец снимал дачу в Царицыне, где Таня жила с няней и с

гувернанткой. Он сам приезжал к ним в четверг поздно вечером, а днем в воскресенье опять уезжал. Стояло прекрасное время – середина июля, – когда некто Коля Бабаев, соседский ребенок, вдруг умер. Он умер в субботу, а в четверг, за два дня до этого, к ним прибежала прислуга с той дачи, где жили Бабаевы, и отец, только что с поезда, схватил свой докторский чемоданчик, надкусил яблоко, но тут же и бросил его прямо на пол. А няня и Таня смотрели с балкона, как он торопливо бежит по песку, мокрому от недавнего дождя и сильно хрустящему под его тяжелыми шагами.

Вернулся он в пятницу после полудня, когда оглушительно пахло жасмином, а няня варила малину и косынкой отмахивалась от ос, – вернулся измученным, но оживленным, как будто пытаясь их всех обмануть, уныло взглянул в таз с кипящим вареньем, сказал, что он сыт, и уснул на террасе. Вечером снова прибежала прислуга с Колиной дачи, отец моментально вскочил и, умывшись, ушел со своим чемоданчиком.

Тогда Таня начала с ненавистью думать об этом ушастом и вежливом Коле в его накрахмаленной белой сорочке, вспомнила, как они ловили стрекоз на болоте и он всё время промахивался, нелепо хлопал сачком мимо прозрачной стрекозы, которая со своим помертвевшим от страха лицом сперва повисала над их головами, не веря свободе и празднику жизни, а после взмывала наверх с дикой силой... Этого жалкого восьмилетнего Колю Таня страстно проненавидела всю

ночь, ревнуя отца, который возился с чужим и ушастым, как будто бы рядом и не было Тани, но утром заснула так крепко и сладко, что не услышала ни того, как вернулся отец, как пил с няней чай на террасе, а няня кряхтела и плакала тихо.

Колю отпевали в деревенской церкви. В разгаре цветущего лета с его этим зноем и светом, росой в траве, ночными зарницами в небе, мокрыми лепестками, засыпавшими садовую скамейку так густо, что издали было похоже на облако, в разгаре цветущего сонного лета внесли на руках – было много народу, и пахло свечами, и многие плакали, – внесли на руках желтый новенький ящик, поставили его на возвышение, и Таня, которую отец крепко держал за плечо, увидела, как с громким стуком на ящик упала вся черная – в таком неопрятном и жеваном платье, как будто она в нем спала целый месяц, – лохматая старая дама...

Через два дня Таня и сама заболела скарлатиной, начала гореть, задыхаться, во сне ей казалось, что с Колей они снова ловят стрекоз и Коля зачем-то всё время смеется. Ненависть опять охватывала ее, Таня сбрасывала с себя одеяло, плакала, кричала, что Коля живой, он обманщик и просто лежит сейчас в новеньком ящике...

На третий день температура спала, и Таня увидела спальню, столб светящейся солнечной пыли над ковром, отца, взъерошенного, в раскрытой на груди рубашке, и рядом с ним незнакомую женщину. У женщины были темные, очень густые волосы, просто зачесанные назад, и нежная желтизна

под глазами, от которой она казалась особенно красивой.

– Проснулась, – бодро сказал отец и, наклонившись, пощупал Тане лоб, – теперь всё в порядке.

Женщина стояла у окна, спиной к очень яркому саду, и ветка зеленой сияющей вишни как будто росла у нее из затылка.

– Узнала меня? – спросила она, сделав шаг к кровати, и наклонилась так же, как отец, приглаживая Танины вспотевшие волосы.

Это была мать, которую она не видела бог знает сколько времени, потому что мать уехала за границу, и там у нее родилась слабая и чем-то больная девочка, и девочку стали лечить на курорте, поэтому мать не вернулась в Россию. Изредка от нее приходили письма, которые отец, насупившись, читал вслух неестественным и громким голосом. Мать называла ее «Татушей» и всё обещала, что скоро приедет.

Теперь, когда она наклонилась над Таней, оказалось, что мать существует так же ясно, как все остальные вокруг: отец, птицы, няня. Она приоткрыла рот, и Таня вдруг вспомнила, что между передними зубами у матери была узкая полоска немного припухшей и розовой кожи. Она и сейчас там была. Тогда она выскользнула из-под материнской руки, оттолкнула ее и бросилась бежать. Ее не успели поймать. Скатившись по лестнице, босая, с искаженным от громкого плача красным лицом, Таня пересекла террасу и, не угадав, что перед нею закрытая стеклянная дверь, налетела на нее. Боли

не чувствовалось, но щипало и жгло, когда отец, морщась от сострадания, смазывал йодом ее очень сильно разрезанный лоб, и всё было густо испачкано кровью, особенно волосы. Остались два крошечных шрама: один на скуле и другой – рядом с бровью. Они ее вовсе не портили.

* * *

В кофейне Филиппова пахло свежим хлебом, а пол был в коричневых от растаявшего снега лужах, похожих по цвету на пролитый кофе. С сильно колотящимся сердцем, стараясь казаться независимой и взрослой, она села за мраморный столик и принялась ждать. Вошла очень худая большеглазая дама с требовательным и жалким лицом. Потом, раздумьянные, переговариваясь деревянными от холода голосами, громко хлопнув дверью, ввалились два гимназиста, потом молоденькая няня с закутанным ребенком в коляске, которая приложила большие красные руки к кипевшему на стойке самовару и тут же со смехом отдернула их. Тане надоело ждать, и она встала, потуже завязала вязаный шарф под подбородком и, чувствуя себя оскорбленной, пошла к выходу. На пороге они столкнулись. Александр Сергеевич смешно отпрыгнул от нее, придерживая тяжелую дверь.

– Прощу простить, – заговорил он, сверкая знакомой улыбкой, от которой у Тани вдруг сжалось внутри живота и в глазах потемнело. – Извозчик попался не самый проворный.

Рядом с Александром Сергеевичем стоял худой и нескладный молодой человек лет шестнадцати, если не меньше. Кирпичный румянец уходил под его рыжие мелкие кудри, которые на висках были ярко-красными, как будто румянец пропитал их изнутри, как вода пропитывает мох на лесной поляне.

– Вот, Татьяна Антоновна, прошу любить и жаловать: Василий, мой сын и наследник.

Василий кивнул ей небрежно, и Таня совсем потерялась. Сели за столик, не глядя друг на друга. Александр Сергеевич, придвигая стул, ненароком дотронулся до ее локтя. Им принесли три чашки горячего шоколада, от которого поднимался волнистый, похожий на тюлевый, пар. Няня с закутаным спящим ребенком неторопливо доедала калач и дула на чай, подкладывая в него кусочки колотого сахара. Василий сидел неподвижно и прямо.

– Вы в какой гимназии учитесь? – спросила Таня.

– Сейчас я перешел в гимназию Ямбурга, – темно покраснев, с надменностью растягивая слова, ответил Василий и вытер крупный пот, выступивший на лбу. – Там и гуманитарные, и естественные предметы очень хорошо преподаются.

Каждое слово доставляло ему страдание. В замешательстве Таня начала быстро пить шоколад, но он обжигал язык, и она отодвинула чашку. Хотела подуть и смутилась, не стала. Александр Сергеевич вдруг начал рассказывать, какая замечательная у них лечебница, названная в честь своего ос-

нователя, бывшего губернатора Москвы Алексеева, который особо жалел сумасшедших и не хотел, чтобы их по обычаям старого времени держали в смиренных рубашках и лили им воду на бритые головы. Просвещенный гуманист, Алексеев собрал богатое московское купечество на обед, описал, каким оскорблениям незаслуженно подвергаются тяжело больные люди, и попросил помочь ему в постройке хорошей современной больницы. Тогда, заскрипев стулом, поднялся купец Ермаков, огромный, налитый тяжелой купеческой кровью, однако в прекрасной английской одежде, сощурил калмыцкие желтые глаза и сказал так: «Поклонись в пол здесь, на людях, и дам миллион». А не успел он закончить, как белый, хуже зубного порошка, Алексеев вышел из-за стола, сорвал с себя хрустящую салфетку, которую заложил за воротничок, приступая к обеду, и низко поклонился купцу Ермакову. И тот дал ему миллион.

– А что потом было? – спросила Таня, стараясь не смотреть на Василия, который краснел всё сильнее.

– А то, что обычно бывает, – нервно дернув щекой, ответил Александр Сергеевич. – Построили лечебницу, закупили новейшие ванны, постельное белье, халаты для больных, шкафчики. Лечили по всем требованиям цивилизованного мира. Никаких побоев. Старались подолгу беседовать с пациентами, ловили, так сказать, искорку неомраченного сознания. Сам Алексеев очень этим увлекся, пропадал в клинике днями и ночами, пока его, бедного, не зарезали.

– Как так зарезали? – вскрикнула она.

– Ну, просто, как курицу, – усмехнулся он. – Сидел в сумерках с одним больным, на которого возлагал особые надежды, увещевал. А тот схватил бритву и изо всей силы полоснул его по горлу. Весь сумасшедший дом просился присутствовать на отпевании, и в клинике долго был траур.

– Почему вы сказали, что так всегда бывает? – насупилась Таня.

– А как же иначе? – засмеялся он, но не успел договорить.

Из дамской комнаты к их столику быстро подходила та самая, очень худая, с разгневанным и жалким лицом женщина, которая пришла в кофейню почти одновременно с Таней. У женщины горели щеки, в уголках губ запеклась пена.

– Ах, вот они где! – сказала она, так сильно выкатив блестящие глаза, что всё остальное на ее истощенном лице стало почти незаметным. – Нашел себе новую куклу?

Василий вскочил и, застонав, словно у него разом заболели все зубы, выбежал из кофейни. Няня, хлопая своими растаявшими ресницами, испуганно открыла рот и начала быстро качать коляску.

– Я знала, что всё этим кончится! Знала! Но я не позволю! Клянусь, завтра я подниму все газеты!

– Какие газеты? – побледнев так, что на кончике его прямого носа стали заметны редкие черные точки, спросил Александр Сергеевич. – Ты, Нина, себя не слышишь!

– Я слышу! Ты хочешь жениться – женись! Только Васю

не трогай!

– А, это уже что-то новое, – буркнул Александр Сергеевич. – Пойдемте, Татьяна Антоновна, здесь нам не дадут поговорить спокойно.

Тане хотелось провалиться сквозь землю. Александр Сергеевич осторожно взял ее под руку. Набросив на голову шарф, в незастегнутом пальто, она прошла мимо жены Веденяпина, боясь случайно дотронуться до нее, и перевела дыхание, только оказавшись за порогом кофейни.

Лицо Александра Сергеевича было несчастным и постаревшим.

– Ну, видите, видите? Что я мог сделать?

– Мне всё-таки лучше уйти, – пробормотала Таня, сгорая от стыда и неловкости.

– Вам гадко здесь с нами! – Александр Сергеевич наклонился, стараясь поймать ее взгляд. – Еще бы не гадко! Но это продлится недолго, ведь вы же всё видели...

– Как вам не стыдно! – расплакавшись, закричала Таня. – Вы ждете ее смерти? Ах, как вам не стыдно!

– Бывает, что смерть-то и есть лучший выход...

– Вы это вчера говорили! Вы говорите ужасные вещи, я даже и слушать не стану!

– Я буду молчать, если вам это лучше.

– Оставьте меня, пожалуйста! – взмолилась Таня. – Я не знаю, как отвечать вам, подождите... Даю слово, что я сама позвоню вам.

– Даете мне слово?

– Да, я позвоню.

Нужно было, чтобы он как можно быстрее отпустил ее.

За обедом отец молча протянул ей распечатанное письмо.

– Что это? Мне?

– Твоя мама вернулась в Москву.

– Как – мама вернулась?

– Соскучилась, – с ядом в голосе ответил отец.

– А я не хочу! – зло и возбужденно заговорила Таня, отталкивая от себя тарелку и расплескивая суп по скатерти. – Я не хочу ее видеть! Зачем она мне?

– Она родила тебя, – негромко сказал отец.

– Никто не просил! Она и потом тоже вроде рожала! Ведь там еще девочка, верно?

– Девочка-то уж совсем ни при чем... Она тебе ничего плохого не сделала.

Тут только Таня заметила, что письмо распечатано.

– Ты что? Ты прочел?

– Бог знает, что она могла написать тебе. Я ей не слишком доверяю.

«Татуша! – писала мать. – Понимаю, как тебе больно вспоминать обо мне, как сильно я виновата перед тобой. Но теперь, когда ты становишься взрослой, тебе, может быть, будет легче понять меня. Мы с Диной вернулись в Россию после двенадцати лет жизни в Европе. Это очень большой срок.

Я много рассказывала ей о тебе, и она знает все смешные словечки, которые ты говорила, когда была маленькой, и смеется твоим детским шалостям».

Сквозь злые горячие слезы Таня удивленно посмотрела на отца:

– Каким моим шалостям она смеется?

– Были, наверное, какие-то шалости. Ей теперь кажется, что и она, как любая мать, должна помнить, каким был ее ребенок в детстве... Чувствительный самообман.

– Не хочу! – Она бросила письмо на пол и изо всех сил сжала голову руками. – Одни сумасшедшие рядом!

– О чем ты? – нахмурился отец. – Какие рядом с тобой сумасшедшие?

Она прикусила язык.

– Красивая зима! – Отец посмотрел за окно, где голубовато и нежно сверкало. – Почему ты перестала ходить на каток?

Он всегда переводил разговор, когда ей нужно было отдышаться и сообразить, что к чему.

– Папа! – Таня всхлипнула. – Я не стала тебе рассказывать, потому что я не знала, как... Вчера меня проводил из театра один человек. Он доктор, работает в больнице... У него сын, гимназист. Еще и гимназии даже не кончил.

Отец еще больше нахмурился:

– Почему ты позволяешь незнакомому человеку провожать тебя из театра?

– Он рядом сидел, и мы с ним познакомились. Потом он пошел провожать. У него жена, которая больна и скоро умрет. Сегодня мы были в Филипповской, она ворвалась и устроила сцену. Он очень несчастный...

Слезы затопили ее, но они же оказались и той спасительной смазкой, которая помогала словам протискиваться сквозь горло.

– А ты здесь при чем? Какое тебе дело до чужого мужчины и его жены?

В том, как отец произнес слово «мужчина», сверкнула обозленность. Он резко встал и, обойдя стол, подошел к ней.

– Смотри на меня, я хочу видеть твои глаза.

Она подняла заплаканные глаза.

– Ты очень красивая молодая девушка, – твердо выговорил отец. – Ты росла без матери, а я не сумел подготовить тебя к жизни. Ты не понимаешь, что это значит, когда не старый еще мужчина, – опять он неприятно и обозленно надавил на это слово, – сколько, кстати, ему лет?

– Не знаю. Лет сорок, а может быть, больше...

Отец весь темно покраснел:

– Лет сорок! Тебе восемнадцать! Лет сорок! Ты не знаешь, что это значит, когда мужчина в театре знакомится с молодой девушкой, а потом провожает ее домой и рассказывает ей о своих драмах!

– А что это значит? – хрипло спросила она.

– Это значит, что в следующий раз он пригласит тебя в

номера! Не думай, что в жизни одни только розы!

– А я и не думаю, – прошептала Таня. – Ты же сам говоришь, что я росла без матери.

Отец покраснел еще больше:

– Разве это я виноват в том, что ты росла без матери?

Таня вскочила. Теперь они стояли лицом к лицу, и оба тяжело дышали.

– Никто из вас не виноват! – закричала она, жалея отца и одновременно наслаждаясь его растерянностью. – Я не виновата в том, что вы сначала женились, а потом разженились! Я только знаю, что меня бросила мать, а теперь ты упрекаешь меня, что я пожалела кого-то, кого тоже бросила жена! А я ни на секунду не забывала, что моя мама сделала с нами! Со мной и с тобой! Помнишь, как мне однажды приснилось, что мы идем по лесу и снег вокруг? И кто-то лежит в этом снегу, совсем маленький, как ребенок. А потом мы наклоняемся и видим, что это мама. И ты говоришь: «Она заблудилась. Сейчас отнесем ее домой и согреем». Не помнишь?

Таня с размаху уткнулась в отцовскую шею, где между накрахмаленными отворотами воротничка перекатывалось адамово яблоко, которое было еще горячее ее собственного лица.

– Ну, хватит, – забормотал отец, целуя и приглаживая ее волосы. – Если этот господин позвонит, я попрошу его оставить тебя в покое. А с мамой я сам разберусь... Скажу, что тебе нужно время...

Опять она не могла заснуть. Мысли о матери перебивались мыслями об Александре Сергеевиче, потом о его сыне, который сбежал из кондитерской, потом она начинала представлять себе, какая у матери младшая дочка, но тут ее прожигали слезы, и рот наполнялся соленой слюною.

* * *

Под утро она заснула и проснулась далеко за полдень.

– Папаша велел, чтоб тебя не будили, – шамкая сухими коричневыми губами, сказала нянька. – Вставай и иди хоть позавтракай, поздно. Уж скоро обедать.

На улице таяло, и оползший за утро сугроб напоминал огромную неуклюжую птицу, у которой одно крыло нагромоздилось на другое.

– Весна, стало быть, – вздохнула нянька. – Вот как припечет, так и лету недолго! Глядишь, и согреемся. А то прям хоть плачь: сыпет, сыпет!

– Папа не сказал, когда придет?

Нянька глотнула чаю из стакана, обожглась и помахала ладонью перед раскрытым ртом.

– С мамашей сегодня встречаются, вот как, – не сразу ответила она. – Звонил ей с утра, сговорились. При мне дело было.

– Зачем? – ахнула Таня.

Няня развела тускло-красными, в мелкий горошек рука-

вами кофты, и ярко начищенный самовар повторил ее движение: раздвинулся медленно и покраснел.

– Ну, как? Ты сама-то подумай! Приехала мать в кои веки, а ты что? Метлою, что ль, гнать?

В дверь столовой засунулся дворник Алексей Ермолаич, розовый от холода, худенький и даже в тулупе похожий на кузнечика своими слишком длинными и слишком прямыми ногами. Он вежливо кашлянул.

– Там, это, цветы вам прислали, барышня.

К букету очень длинных, молочно-белых роз была приложена записка: «Еще раз прошу простить меня за вчерашнюю историю. Напоминаю о Вашем обещании и жду звонка. А.В.».

– Ты что, кавалера себе завела? – нахохлилась няня. – А папа что скажет?

– Нет, это знакомый, – вспыхнув, пробормотала она. – Тебя не касается!

Схватила букет, побежала к себе.

– Воды хоть налей! – крикнула ей вдогонку няня. – Цветочков-то жалко!

Таня сорвала серебряную бумагу с букета и бросила рассыпавшиеся цветы на кровать. Одна, самая большая роза оказалась наполовину раскрытой, красная сердцевина ее была испещрена черными точками.

Она подошла к зеркалу и приподняла руку. Рука тоже была белой, по-зимнему бескровной, худой, но крепкой, под-

мышка золотилась пушком, и там, внутри пушка, темнела родинка. На теле ее было много родинок, особенно на спине. На левой лопатке их было три, но маленьких, а одна, покрупнее, находилась на месте последнего шейного позвонка, и всякий раз, когда она наклоняла голову, казалось, что по ее шее скатывается черная лесная ягода.

Она не позвонила Александру Сергеевичу. Он должен был ждать. Он должен был ждать очень долго, потому что в ней проснулась сила, о которой раньше никто не подозревал. А всё эти розы. Как папа сказал? «Не думай, что в жизни одни только розы». Но папа ошибся. Он просто боится, чтобы она не сделала какую-нибудь глупость. Он вечно боится. Какая же глупость? Когда ей прислали *такие* цветы? Она вспомнила, как улыбается Александр Сергеевич Веденяпин, и ее бросило в жар.

Отец вернулся домой поздно, уставший, с сильной головной болью. Она решила не спрашивать больше о матери, а он не спросил, откуда взялись эти розы, которые своей райской красотой преобразили комнату. Отец на них бегло взглянул, слегка покраснел, но и только.

«Да он ведь всё понял!» – ужасаясь тому, что у нее появились секреты, подумала Таня.

* * *

Утром, идя на курсы, она нарочно замедляла шаги и

все время оглядывалась: казалось, что Александр Сергеевич должен непременно попасться ей на пути. Она старалась идти особенно легко и, сколько могла, выгибала спину, как это делают танцовщицы, но вдруг чей-то голос, показавшийся знакомым, сказал прямо над ухом:

– Мадемуазель Лотосова!

Таня испуганно оглянулась. Перед ней, задыхаясь от быстрой ходьбы, стояла жена Александра Сергеевича в зимнем каракулевом жакете и шапочке, отороченной пушистым серым мехом, с маленькой вуалеткой, которая все время плотно прилипала к лицу, так что Веденяпиной приходилось сдвигать ее в сторону оттопыренными губами.

– Простите меня, – тяжелым, растерзанным голосом заговорила Веденяпина. – Мне пришлось немножко последить за вами. Вчера проводила вас до самого дома, а вы ничего не заметили. Вы, ради всего святого, простите меня!

– Зачем?

– Пойдемте! – сверкнула глазами Веденяпина. – Вы ведь шли куда-то? Ну, вот и пойдемте.

И обе пошли быстро, словно убегали от кого-то. Шелестящие от ветра верхушки сугробов вспыхнули розово-красным.

– Он вас не отпустит, – сказала Веденяпина. – Я вам прямо сейчас могу рассказать, как это всё будет.

– О ком вы? – прекрасно понимая, о ком она говорит, проворчала Таня.

– У вас эти ямочки! – перебила ее Веденяпина и так же растерзанно-натужно засмеялась. – У вас ямочки на щеках, оказывается, не только когда вы улыбаетесь, но даже когда вы просто говорите! И дело всё в ямочках!

Таня со страхом смотрела на нее.

– Боитесь? – Веденяпина перестала смеяться под своей прилипшей вуалеткой. – И правильно делаете. Он любит не всю женщину, понимаете меня? Он любит какую-нибудь одну черту в женщине. С ума начинает сходить. Вы думаете, отчего он в свое время женился на мне? Ему понравилось, что у меня на шее была какая-то тоненькая синенькая жилка! Кому рассказать, не поверят! Он взял и женился.

– А я здесь при чем?

– Я просто предупреждаю вас, чтобы вы не попались. – Веденяпина, оттопырив губы, сдула вуалетку. – Он лакомка. Увидел ваши ямочки и тут же почувствовал голод.

«Она сумасшедшая!» – быстро подумала Таня.

– Вы только не думайте, что я сумасшедшая, – усмехнулась Веденяпина. – Я всего этого сама очень долго не понимала. Да и что мы понимаем с нашими куриными мозгами? Читали вы графа Толстого? «Крейцерову сонату»?

Таня отрицательно покачала головой.

– Там многое – правда. Но муж мой пошел еще дальше. Уж лучше зарезать, чем так издеваться!

– А он издевался?

– Ох, да! – как-то даже весело, словно ей приятно вспо-

минать об этом, ответила Веденяпина. – Ведь срам какой, господи! И эти бог знает какие слова! И эти укусы везде! На всем теле!

– Зачем же вы это терпели? – боясь смотреть на Веденяпину, не удержалась Таня.

– А мне просто некуда было деваться. Он был моим мужем, законным, обвенчанным. На улицу разве сбежать? И что тогда дальше? Потом я привыкла. Я могла, скажем, приказать, чтобы он налил себе кофе в мой ботинок и выпил. И он наливал и не брезговал. Я могла сказать: «Пойди на двор, принеси снегу». И он шел, в одном белье, даже не накинув пальто, и приносил. Мне тоже хотелось иногда его помучить. Прямо до боли какой-то. Хотелось смешного, ужасного. Но он всё равно был сильнее меня. Я всё принимала за чистую монету, а он играл со мной, как с котенком. Встану, бывало, липкая, вся в красных пятнах. Посмотрю утром в зеркало: «Ой, господи! Ктой-то?»

Она засмеялась.

– Он бил вас? – ужаснулась Таня.

– Не бил, а терзал. Это хуже гораздо.

– Зачем мне всё знать? – закричала Таня. – Зачем вы всё это рассказали?

– Да жалко мне вас! Очень жалко! Я увидела у Филиппова: сидит девочка, розовая, пушистая, как хризантема, брови нахмурила, волнуется. И вдруг – этот старый развратник. И сын рядом ним, совершенный ягненок. Ах, боже мой! – Она

резко побелела под своей вуалеткой. – Всё ямочки ваши!

– Довольно... – прошептала Таня. – Пустите меня, я пойду.

– Он, верно, сказал вам, что я умираю? Сказал ведь? Признайтесь!

Таня кивнула.

– Он всем говорит. Уж, поди, сколько успокойных назначивал! Торопится очень. А вы не верьте: больна я совсем неопасно. Он меня хочет за границу отправить, а я всё не еду. И я не поеду, пока он мне сына не даст.

– Так сын же не хочет...

– Да кто вам сказал-то? – возмутилась Веденяпина, и слезы наполнили ее глаза. – Он с Васей хитрит. Откуда же Васе понять?

– Не ходите за мной больше! – взмолилась Таня. – Кто вам позволил следить за мной?

Веденяпина усмехнулась презрительно:

– Не так у меня много времени осталось, чтобы следить за вами, мадемуазель Лотосова. Живу здесь поблизости, вот и столкнулись.

– Да это неправда!

– Прощайте! – растерзанно засмеялась Веденяпина и сморгнула слезы.

Краешек вуалетки забился ей в рот от сильно подувшего снежного ветра.

С этого дня прошло несколько недель. Александр Сергеевич больше не посылал Тане цветов, не звонил. Если бы не розы, которые все еще стояли в гостиной, засохшие, с опущенными головами, как будто знали за собой тяжелую вину, то можно бы было подумать, что ничего и не было: ни оперы Глинки, ни шоколадного запаха в красном бархатном фойе, ни того, как они с Александром Сергеевичем шли по уснувшей Плющихе, и он близко наклонялся к самому ее лицу, смотрел очень странно и вдруг улыбался. Теперь по утрам начиналась тоска.

Тоска наполняла дом, и во всем, на чем случайно останавливался Танин взгляд, от голубиного помета на замороженном полене, принесенном дворником из сарая в гостиную, до вспышки заката на талом снегу, была сильная, но тихая тоска, а любая ерунда, вроде резкого скрипа саней на повороте или глухого хлопка форточки, вызывала слезы. Чем больше времени проходило с их встречи в кондитерской, тем острее вспоминалось его лицо и, главное, эта насквозь прожигающая, яркая улыбка. Она изо всех сил старалась не думать о нем, но всякий раз, когда чья-то высокая мужская фигура в длинном пальто мелькала перед ее глазами на улице, она останавливалась на ходу и невольно зажимала рукою то место между горлом и сердцем, которое сразу начинало гореть

и колотиться внутри, как будто под кожу запрятали птицу.

Прошел февраль, март, наступил апрель, – земля стала теплой, пахучей и пестрой, – и вдруг рано утром, десятого, лежа в постели и медленно освобождаясь от только что пришившейся чепухи, где основное место занимала темная, в павлиньих разводах вода, Таня вдруг ощутила себя свободной. Она не ждала больше, что он позвонит или встретится ей на улице. В душе как будто отпустили тугую резинку, и Александр Сергеевич вышел из памяти так, как выходят из комнаты. С уходом его всё вернулось: подружки, уроки, часы у портнихи, театр, концерты... А дни становились длиннее, светлее. Муфта была давно пересыпана нафталином и спрятана няней в коричневую коробку из-под туфель, днем в доме становилось солнечно, жарко, и пьяный от радости воздух влетал с легким стуком в открытые форточки.

Отец вдруг сказал за обедом, что завтра придет ее мать. Причем не одна, а с сестрой. Таня опустила глаза так низко, что закружилась голова.

– Их нужно принять, – сдержанно пояснил отец. – Посуди сама: она подумает, что я не передал тебе ее просьбу.

«Какая тебе разница, что она подумает?» – сверкнуло в Таниной голове, но она посмотрела на ставшее жалким отцовское лицо и ничего не сказала.



Назавтра вечером раздался звонок. Отец высунулся из кабинета, почему-то вытирая пальцы полотенцем, и громко сказал на весь дом:

– А вот и они!

И пошел открывать.

Таня скользнула в его кабинет, быстро выключила лампу, села в кресло и сквозь дверную щель принялась наблюдать. Вслед за взволнованным и неестественно жестикулирующим отцом в гостиную вошла мать, слегка пополневшая за эти годы, но все еще очень красивая, со своими блестящими сизо-голубыми глазами, которые она, как фамильную драгоценность, передала обеим дочерям. Таня тотчас узнала собственные глаза на лице у размашисто вошедшей за матерью девочки, которая от неловкости сделала слишком широкий шаг, запнулась, остановилась и ярко вспыхнула. Краска, как тень покрывшая ее лицо, была знакома до отвращения: Таня и сама вспыхивала точно так же. На девочке были белые чулки и клетчатое широкое пальто, которое выдавало в ней иностранку.

– Ну, где же... – начала мать своим сильным, переливающимся голосом, который Таня сразу вспомнила и ужаснулась, что даже голос у матери не изменился. – Ну, где же...

Тогда она вскочила и, щурясь, вышла к ним из темноты в

ярко освещенную гостиную. Мать быстро всплеснула руками.

– Большая! – шепнула она. – Какая я дура, о господи! Я думала, что ты так и осталась маленькой и кудрявой.

– Да, кудри состригли! – скороговоркой и очень громко объяснил отец. – Состригли, как с пуделя. У нее инфлуэнция была два года назад – помнишь, я писал? – в жару провалялась весь месяц, потом было не расчесать. Обстригли всю голову. Зато теперь выросли – видишь? – нормальные косы.

Мать усмехнулась и тихо обняла ее. Таня продолжала стоять как стояла, она не сделала ни одного движения, не сказала ни слова, только отвернулась, когда мать попыталась поцеловать ее, и от этого душистый материнский поцелуй пришелся не в щеку, а в ухо. Отец громко кашлянул.

– Сестра твоя, Дина, – почти с угрозой произнес он, стыдясь и, видимо, сильно страдая за Таню. – Я рад, что теперь вы знакомы.

Дина быстро сняла красные кожаные перчатки и решительно, но неловко, ладонью вверх, протянула руку. Рука была маленькой, крепкой, горячей. Таня так же неловко пожала ее. Мать и отец переглянулись, и на красивом лице матери появилось тоскливое беспокойство.

– Скажи няне, чтобы поставили самовар, – попросил отец. – Сейчас будем чай пить.

Боясь встретиться глазами с матерью, Таня поспешно вышла из комнаты и долго стояла на кухне, борясь с желани-

ем убежать на улицу через черный ход. Когда она вернулась, мать и отец сидели рядом на диване, а Дина в своем коротком клетчатом пальто стояла у окна спиной к ним и смотрела на улицу.

– Так что: ревматизм прошел окончательно? – уже другим, обычным, успокоившимся голосом спрашивал отец.

– Всё эти курорты, – быстро ответила мать. – Они мертвецов воскрешают! Я раньше не верила...

Она оглянулась на вошедшую Таню и замолчала.

– Сейчас принесут самовар, – почти грубо сказала Таня. – Ведь вы вроде чаю хотели?

Она посмотрела прямо в глаза матери и вдруг испугалась, что разрыдается.

– Таня! – Мать поднялась с дивана. – Я хотела объяснить тебе, прямо сейчас, при Дине и папе, почему это всё так вышло, что мы долго не виделись с тобой...

Таня крест-накрест обхватила себя руками и изо всех сил впиалась ногтями обеих рук в плечи.

– Ну, что ты молчишь! – повелительно, как показалось Тане, воскликнула мать. – Скажи, что ты всё понимаешь! Ведь ты же большая!

Тане хотелось ответить именно так, как она в воображении своем столько раз отвечала ей. Всё так и случилось, как Таня ждала. Мешала, правда, эта девочка в белых чулках. Должны были быть только Таня и мать. Мать приходила к ней – одна, без отца и без девочки. Жалкая, очень краси-

вая, она стояла перед Таней на коленях и просила прощения. Сколько раз, лежа без сна, Таня видела, как мать опускается перед ней на колени, и сколько доходящего до зуда наслаждения было в том, чтобы отвернуться от нее!

...В комнате при этом всегда было темно, горячая темнота колыхалась перед глазами, как под яркими звездами колыхаются песчаные морские отмели, если долго, не мигая, смотреть на них. Сжавшись под одеялом так, что ноги начало сводить, Таня повторяла, что этого нельзя простить, но мать умоляла ее, клялась, что никого она не любила так, как Таню, и нет никаких других дочек...

Теперь же, когда она и в самом деле пришла, стояла так близко, что можно было протянуть руку и потрогать ее, на Таню нашло оцепенение. Мать не опускалась на колени и даже не плакала. К тому же и Таня не нравилась ей: она давно выросла, кудри состригли. Но, главное, рядом была ее дочка, из-за которой матери пришлось двенадцать лет прожить за границей, и там, за границей, лечить эту дочку, возить по курортам, купать в разных ваннах...

Таня отвела глаза от матери, увидела, что на улице уже вспыхнул фонарь и что-то везде желто-синее...

– Боюсь, что она не готова. – Отцовская знакомая ладонь легла ей на затылок, слегка пропустив сквозь пальцы Танины волосы, как он это делал обычно.

– Какая вы злая, недобрая! – вдруг очень громко закричала девочка и, размахивая руками в красных перчатках, вы-

бежала на самую середину комнаты. – Ну, разве так можно, когда все вас просят!

На ее лице под похожими на парик, пепельными густыми волосами, которые начинали расти очень низко, чуть ли не с середины лба, появилось то паническое изумление, которое бывает у новорожденных и ошибочно считается непровольным сокращением младенческих мышц, в то время как это всего лишь волна застрявших в душе прежних страхов и боли, которую каждый, родившись, приносит с того, неизвестного, света на этот.

И тут Таня словно очнулась.

– Пойдемте пить чай, – прошептала она, проглотив соленый сгусток, который давил на небо. – Уже заварили.

Она уперлась кончиком языка в острый край недавно отломившегося сбоку зуба, который своим болезненным прикосновением вдруг словно добавил ей силы.

– Нет, я уйду! – затрясла головой Дина. – Мне так всё противно!

Мать покраснела. Дина взяла ее за руку и, как маленькая, потянула к двери. Тогда мать сделала какой-то торопливый и беспомощный жест, показывающий, что с Диной нельзя спорить, и обе они ушли. Отец бросился догонять. Таня услышала, как он в дверях сказал громко:

– Не бойся, я очень стараюсь.

Таня догадалась, что это о ней. Отец вскоре вернулся. Она стояла у окна, смотрела, как мать и ее дочка, взявшись под

руки, переходят улицу и уменьшаются в почти фиолетовом, темном апрельском воздухе, принявшем над крышами домов красноватый оттенок.

– Не надо... – пробормотал отец. – Ты знаешь: чего не бывает...

* * *

Утро начиналось с пастушьего рожка – из ближней деревни гнали стадо на луга, – и пастушок, мальчик лет пятнадцати, как будто сошедший с какой-то картины со своими белыми кудрями под огромной растрепанной шапкой, у которого только-только начал ломаться голос, и поэтому, когда он окликал своих коров, по лесу неслось то звенящее девичье «э-э!», то грубое, кричающее, как у утки, «эхе-х!», – этот пастушок в красном нитяном пояске поверх рваной рубашки исполнял роль дачных часов, потому что после его рожка одно за другим распахивались окна, к заспанным кухаркам на верандах подплывали полные румяные молочницы со своими бидонами, вытирали пот со лба, заправляли под косынку влажные сбившиеся волосы... Молоко, когда его начинали разливать большими кружками из бидонов, всегда сильно пенилось, было горячим.

На дачах веселилось и скучало много девушек и молодых людей, приехавших на каникулы, уставших за зиму, раздраженных своей голодной до всех удовольствий, забывчивой

молодостью, готовых и к флирту, и к легким знакомствам, и к той неизвестности, которая всегда вдохновляет человека в начале пути и так, к сожалению, мучает после. Тут же начались романы, свидания в березовой, точно хрустальной (настолько нежны были эти стволы, настолько прозрачны зеленые листья), молоденькой роще вблизи от купальни, прогулки на велосипедах – причем далеко и всегда под луною, чтоб пахнувший медом и клевером ветер дурманил лицо, и так сильно дурманил, что даже хотелось, зажмурившись, мчаться, мелькая колесами, не разбирая, дорога ли это, земля или небо...

В это лето Таня оказалась полностью предоставлена самой себе: гувернантка, поскользнувшись на мокрой траве, упала и сломала руку, лежала в качалке под вытертым пледом, за Таней уже не смотрела. Няня только шамкала своим теплым коричневым ртом, беспокоилась, готов ли обед, вернулся ли папа из города. Мать с этой девочкой, Диной, не появлялась больше, отец ничего не рассказывал. Возможно, они снова были в Европе, лежали в горячих целительных ваннах. Ее это всё не касалось.

Вставала она, как и в городе, рано и, напившись чаю с деревенскими сливками, уходила гулять куда-нибудь подальше, на плотину или в поле, где травы наплывали на нее серебряными волнами и низко над этими травами сверлили воздух стрижи. По вечерам собирались на какой-нибудь из дач, ставили самовар, раскладывали конфеты, баранки, куплен-

ные на станции, плотные, золотистые от света лампы, потом появлялась гитара, и плечистый, огромного роста Петруша Василенко, похожий при этом на девушку своими тонкими, как паутинка, светлыми волосами и густыми загнутыми ресницами, усевшись на верхней ступени террасы, принимался петь романсы. Ему подпевали, и соловей, сперва изумленно замолкавший от этих пустых человеческих звуков, вскоре опоминался и, с новой, удвоенной силой рассыпав по саду горячие трели, доказывал скучным старательным людям, что значит жить в небе и быть просто птицей.

В самом начале июня в Царицыно приехал молодой, но очень известный уже актер Владимир Шатерников. Он оказался невысок ростом, слегка коренаст, с очень легкой походкой, брови его были темными, густыми, подвижными, выражение лица, когда он находился на людях, постоянно менялось, словно он всё время следил за тем, чтобы не показаться однообразным. Шатерников был женат на актрисе, но они уже «простили» друг друга, как иногда с усмешкой объяснял он свое нынешнее положение, и после того как, сыграв роль писателя Толстого в фильме Якова Протазанова «Уход великого старца», Шатерников уехал из Петербурга, они с Маргаритой, женой, даже и не встречались. Что касается этой нашумевшей фильма, то после нее началось столько сплетен, столько слухов поползло и на актера Шатерникова, и на режиссера Якова Протазанова, и особенно на оставшуюся после смерти Толстого измученную семью его, что про-

кат был временно запрещен. Когда стало известно, что какая-то петербургская кинематографическая компания в погоне за дешевой сенсацией инсценировала интимную сторону жизни графини Софьи Андреевны с великим ее мужем графом Львом Николаевичем, причем были воспроизведены совершенно неправдоподобные сцены, а все мало-мальски правдоподобные представлены лживо, нахально, курьезно, графиня, едва оправившаяся от затяжного воспаления суставов, полученного в результате погружения в холодную воду яснополянского озера, сама побывала в Москве у очень влиятельных административных лиц, которые пообещали ей всячески воспрепятствовать появлению безобразия на российских экранах.

Фильму, однако же, не уничтожили, и режиссеру Якову Протазанову с помощью пятерых актеров, самым талантливым из которых являлся Владимир Шатерников, удалось-таки представить на суд особенно жадных до разных сенсаций любителей нового вида искусства ряд сцен. Сами их названия говорили за себя: «Мрачное состояние духа писателя перед совершившейся трагедией», «Покушение графа Толстого на самоубийство», «Душевный перелом», «Уход из Ясной Поляны», «Симулирование графиней Толстой самоубийства», «Возмутительные планы графини Толстой и Черткова».

Граф Лев Львович Толстой, сын писателя, выступивший от лица своей большой осиротевшей семьи, сообщил корре-

спонденту газеты «Русское слово», что, «к великому сожалению, слухи о безобразном надругательстве над именем покойного отца являются чистой правдой», но он с уверенностью заявляет, что больше в России ужасная лента показана вовсе не будет. Нервное родственное заявление, конечно, выслушали и дружески поддержали огорченно покашливающего, с бурыми пятнами волнения на короткой шее Льва Львовича, однако пришлось принять к сведению, что фильма стоила баснословных денег, а именно сорок тысяч рублей, и вовсе рукою махнуть на расход совсем никому не хотелось даже из жалости к заболевшей графине и всем ее кровно обиженным детям. Тем более что грим, который накладывался на двадцативосьмилетнее лицо Владимира Шатерникова, был просто шедевром искусства, не хуже несколько романов Толстого. Мастерство скульптора Кавалеридзе и пьющего, правда, но ловкого гримера Солнцева, который под наблюдением Кавалеридзе налепил на молодом и румянном лице Шатерникова надбровные дуги и скулы, оправдали высокие требования Якова Протазанова, и он в отместку всем сплетням и наговорам сообщил журналистам из газеты «Утро России», вечно соперничавшей с газетой «Русское слово» (куда обратился взбешенный Лев Львович), что целью его новой фильма было отнюдь не оскорбление памяти великого писателя, а трепетное желание сказать о его страдальческой жизни и, кроме того, о страдальческой смерти, последнюю и благородную правду. Единственное, от чего по

требованию цензуры пришлось отказаться Якову Протазанову, – это очень даже неплохо снятое посмертное свидание графа Льва Николаевича с Христом, роль которого исполняла молодая, но подающая виды – с большими, как звезды на небе, глазами – артистка Уварова. Про Шатерникова рассказывали, что он, огорченный обещанным запрещением картины, расхаживал по монастырям в облике «великого старца», то есть налепивши с помощью Кавалеридзе и вечно хмельного, но ловкого Солнцева толстовские брови и вдвое раздвинувши нос, который у самого Шатерникова был узким и нежным, с заметной горбинкой. Расхаживал, страшно пугая монахов, которые вовсе не желали встречи с отлученным от церкви и преданным анафеме покойным писателем.

Теперь заслуживший большую известность, расставшись с женою и снова свободный, Шатерников приехал в Царицыно, где летом на даче жила его тетка, старуха веселая и не без средств.

Вокруг знаменитого артиста составилась небольшой кружок. Во-первых, кузен самого Черткова, отношение которого к фильму «Уход великого старца» было весьма неоднозначным: графиня Толстая, выпившая столько крови из его родственника и столько ему истрепавшая нервов за ту идеальную чистую дружбу, которая связывала покойного графа с Чертковым, слава богу, изображена так, как она того и заслуживает, но, к сожалению, сам Чертков и вся его семья, столь близкие графу по духу, представлены были неясно и

бегло. Кузену, человеку вспыльчивому и гордому, хотелось, чтобы Яков Протазанов продолжил работу над судьбой Льва Николаевича, и он через дружбу с актером Шатерниковым намеревался вступить в приятельские отношения с заносчивым Протазановым и всё рассказать о семействе Чертковых. Кроме кузена, вслед за знаменитым артистом приехал из Питера совсем еще молодой, только начинающий театральный режиссер Дерюгин, очень худенький и белобрысый, в узеньких брючках юноша, исполненный самых что ни на есть величественных планов. Вскоре к ним прилепился репетитор Леонидов, тоже совсем молодой, с ясными карими глазами, большеусый, у которого из-под закатанных рукавов рубашки блесстел, словно мех, темно-русый волосяной покров.

Первые дни эти трое держались особняком и мало интересовались дачными развлечениями. К тому же Леонидов занимался воспитанием маленьких князей Головановых, одному из которых было девять, а другому – семь лет. Но тут зарядили дожди, длинные, хотя и теплые, с рассвета до глубокой ночи, а ночью особенно пьянящие запахи стали доноситься из садов, словно это пахла разбуженная дождями зеленая, сильная кровь всех деревьев, всех сладких, гниющих, незрелых плодов, всей мокрой листвы, всей земли, всего лета.

Тогда и затеяли ставить спектакль. Роман «Анна Каренина» выбрали по двум причинам. В октябре минувшего года на экраны вышел фильм режиссера Владимира Гардина под

тем же названием. Шатерников сыграл Алексея Александровича, хотя поначалу Гардин обещал ему Вронского. Нужно было восстановить справедливость и сыграть все-таки – пусть даже на дачных подмостках – того, кого очень хотелось. А кроме того, трудолюбивый Дерюгин, у которого руки давно чесались подправить Толстого, пообещал за несколько дней переделать этот очень затянутый роман в современную пьесу. Решено было совершенно пренебречь всем, что касалось Константина Левина, как самого неинтересного и тусклого, по мнению Дерюгина, характера, зато показать самого Каренина, Анну и Вронского так, что даже Толстому не снилось. Первым делом по сцене договорились запустить электрический игрушечный поезд, который будет сопровождать всё действие своим безостановочным бегом. Регулировать движение этого поезда должна фигура одиноко и молча стоящего на краю сцены стрелочника, того самого, который был так ужасно раздавлен в самом начале романа и после тревожил во снах Анну с Вронским нелепым французским своим бормотанием. Кроме того, в последнем акте, когда уже нет в живых ни Анны, ни Вронского (Дерюгин ни секунды не сомневался, что Вронского убили в Турции), нужно было познакомить Сережу Каренина, превратившегося из восьмилетнего мальчика в мужественного и прогрессивного молодого человека, с родною его черноглазой сестрицей, которая стала сестрой милосердия и вечно стремилась на поле сражений. Короче, Толстого решили улучшить, поэтому де-

ла хватало.

Собрались на первое чтение. Владимир Шатерников, слегка всё-таки ироничный по отношению к затеянному дилетантству, обратил внимание на худенькую, но с весьма грациозными и женственными формами барышню, которая как-то очень ярко блестела сизо-голубыми глазами и всякий раз, улыбаясь, показывала такие смугло-розовые ямочки на обеих щеках, что просто хотелось потрогать их пальцем. Барышня назвалась Татьяной Лотосовой. Шатерников немедленно предложил ее на роль Анны Карениной. Девически-нежного, но большого и неуклюжего Петра Василенко решили назначить Карениным. Начались репетиции. Сначала Таня смущалась и постоянно забывала текст, написанный самолюбивым Дерюгиным, который не пожалел времени и как следует поработал над устаревшим романом. Дерюгин, например, уверял, что, увидев Вронского на обратном пути из Москвы, Анна должна броситься к нему и с криком: «Я тоже люблю вас!» – повиснуть на шее. По мнению режиссера, такая открытость чувств современной женщины очень способствует динамичному развитию действия.

– Ну, что же, приступим? – обратился Шатерников к Тане и вдруг покраснел и смутился. – Бросайтесь ко мне!

Она нерешительно переступила на месте.

– Бросайтесь! Быстрее! – приказал щуплый Дерюгин. – Бросайтесь на шею!

Шатерников одобрительно, слегка насмешливо улыбался.

– Да что вы стоите? – клокотал Дерюгин. – Взялись, так давайте!

– Нет, я не могу так, – решительно сказала Таня. – Мне кажется, это неверно, не нужно.

– Неверно? – Дерюгин по-женски всплеснул руками. – А что же, по-вашему, верно?

– Мне кажется, лучше, как в книге.

Дождь закончился, и вдруг охватившее целое небо парное и жгучее солнце так сильно зажгло каждый лист и так – ослепительно-красным – пронзило всю траву, что показалось нелепостью оставаться на террасе, где было натоптано грязными ботинками и накурено, и нужно немедленно выйти на воздух.

– А ну ее, право, Каренину эту! – пробормотал мощный Василенко и с серебряным хрустом потянулся. – Сейчас бы чего-нибудь этого... Водки...

– Я провожу вас, – сказал Тане Вронский-Шатерников, – а лучше – пойдемте куда-нибудь... К полю, хотите?

Почти не разговаривая, они быстро дошли до поля, где дач уже не было, а только одна синева и птицы с алмазными черными клювами.

– Это стрижи? – спросила Таня.

Шатерников засмеялся.

– Я играл Хлестакова в Питере. Там Марья Антоновна говорит: «Что это за птица такая полетела? Сорока?» А Хлестаков целует ее в шею и отвечает: «Сорока».

– Так это стрижи? – повторила она, и поле вдруг стало качаться.

– Конечно, – ответил Шатерников-Вронский. – Стрижи, я уверен.

И обнял ее нерешительно.

– Поцелуйте меня! – попросила Таня. И вдруг покраснела, смеясь. – Вам по роли положено.

Шатерников осторожно поцеловал ее в уголок рта и отодвинулся.

– Боитесь? – спросила она, чуть не плача от волнения.

– Боюсь. – Он впился в ее в губы с такой силой, что она чуть не вскрикнула. – Влюбитесь в меня, голову потеряете. А что старик скажет?

– Какой старик?

– А граф-то! – застонал Шатерников и жадно покрыл быстрыми поцелуями Танино лицо. – Граф Лев Николаич. Мы с ним породнились, следит за мной в оба...

Ей не понравилось, что он шутит, и она рывком откинулась внутри его рук, выгнулась всем телом, чтобы увидеть, не смеется ли он.

Ночью поехали кататься на лодке. И опять были эти поцелуи, к которым она уже привыкла, отвечала ему так же страстно и так же, как он, вдруг иногда отрывалась, переводила дыхание и снова прижималась пылающим лицом и мокрыми от слез ресницами к его лицу.

– Танечка, – повторял он, опрокидывая ее голову и це-

луя шею и начало груди, отсвечивающей молочным теплом в полной звезд темноте. – Какая ты чудная, Танечка, если бы ты знала!

Вдруг она сжалась, почувствовав, что его руки расстегают ей блузку.

– Зачем? Что ты делаешь?

– Боишься? Не хочешь? – пробормотал он, отдергивая руки. – Конечно, не надо, какой я мерзавец...

Но она уже сама целовала его.

– Танечка, мы с ней не живем давно, уже почти два года, но мы женаты, она не дала мне развода, я права сейчас не имею... Ведь ты почти девочка...

– Так ты что? Уедешь? А я тогда как же?

– Как скажешь, так сделаю, – обеими руками обхватив ее лицо и всматриваясь в мокрые, блестящие от страха глаза, прошептал он. – Ты *этого* хочешь? Не сердись? Правда?

Лодка мягко уткнулась в берег, Шатерников подхватил Таню на руки и выпрыгнул из нее. Полоска прибрежной травы была, как в дыму, от сияния месяца. У Тани сильно билось сердце, и, когда он опустил ее на землю, она крепко сжала его руку обеими руками.

– Ты *этого* хочешь? – повторил он, дрожа крупной дрожью, которая передалась ей.

Она кивнула, не сводя с него расширенных глаз. Он быстро снял рубашку и, белея своим молодым, плотным и горячим телом, осторожно положил ее на траву и лег рядом с

ней. Боли не было, и крови почти не было поначалу, но когда через час, держась за руки, они молча подходили к ее даче и внутри неба начало дрожать какое-то расплывающееся младенческое лицо, Таня почувствовала щекочущую струйку, побежавшую по ноге, и приостановилась. Низкорослая ромашка, стебель которой был криво и жалко прибит к земле, окрасилась кровью и стала горячей и яркой от этого.

– Завтра первое августа, – сказал Шатерников. – Через две недели жена возвращается в Петербург из Финляндии. Я поеду к ней и потребую развода. Даю тебе слово: не позже зимы мы венчаемся, слышишь?

Назавтра – первого августа – началась война.

Утром приехал отец, привез пачку свежих газет, но вокруг и без того говорили только о войне, и стало казаться, что всё изменилось: как будто и лес, и земля, и трава вдруг стали другого, сиротского цвета. Отец, насупившись, сидел на террасе, шуршал своими газетами, хмурился и, громко прихлебывая, пил чай, который ему только что заварили, как он того требовал, до черноты. На дорожке, ведущей к крыльцу, появился Шатерников, и Таня, глядя, как он быстрыми шагами подходит к их дому, вдруг испугалась, как будто она совсем и не хотела видеть его.

Разговор сразу пошел о войне.

– Я поражаюсь, – сказал отец, – что вы, человек не военный, артист по профессии, стремитесь принять в этой бойне

участие. Вам что, разве нечего делать?

Таня вдруг словно очнулась: оказывается, впитывая Шатерникова глазами и при этом незаметно для самой себя зажимая обеими руками под скатертью слегка ноющий низ живота, она пропустила самое важное.

– Вы называете это «бойней», – говорил Шатерников. – Какая же бойня, когда я тороплюсь на *защиту* Отечества. И я всегда хотел убедиться в том, что, *несмотря* на свою профессию, я могу сделать что-то важное и послужить моему Отечеству не только тем, что прыгаю по сцене и изображаю чужие подвиги. Сейчас нужны солдаты, а не артисты, – твердо добавил он и покраснел, встретившись глазами с Таней.

Она поняла, что он принял решение, и чуть не заплакала прямо при папе.

Ночью они встретились там же, где и вчера. Лодка постукивала о берег, и лебедь с перебитым крылом, подплывший к ней, сделал было движение, пытаясь забраться на лодку, но заметил огорченную парочку и, торопливо подгребая своим больным крылом, уплыл в темноту, растворился, растаял.

– Я не могу поступить иначе, – дыша в ее шею, бормотал Шатерников. – Поймите меня.

– Хорошо, – с отчаянием отвечала Таня. – Тогда сделайте так, чтобы я смогла приехать к вам. Я буду там, с вами...

Стыдно было зарыдать при нем, но всё содрогалось внутри, и, чтобы заглушить рыдание, Таня засунула в рот кончик своей большой ярко-русой косы.

– Война не продлится больше двух, от силы трех месяцев.

Я сразу вернусь, мы с тобой обвенчаемся...

– А если тебя там убьют? – И она еще крепче прижалась к нему, притиснула его к себе обеими руками.

Он вздрогнул всем телом.

– Граф Лев Николаевич не одобрил бы моего поступка, – пробормотал он, глядя поверх ее головы на светло-зеленое в неровном освещении раннего летнего утра небо. – Но он забывал, что сначала нужно пережить всё это, на собственной шкуре попробовать... Как он пережил в Севастополе. Иначе нельзя. Это трусость и подлость, поскольку другие пойдут и другим будет плохо.

Таня поняла, что его не переспоришь, и тут же, обдав ее всю сладким ужасом, в голову пришла мысль, от которой она начала торопливо расстегивать свое чесучовое платье. Не может же быть, чтобы *это* не заставило его одуматься!

Шатерников отрицательно покачал головой.

– Я не имею права рисковать тобой... Нельзя ведь оставить тебя так... с ребенком. А если родится ребенок? Так как же тогда?

– Но ты сказал, что война будет идти от силы три месяца... – сгорая от стыда, прошептала она.

Он по-вчерашнему отогнул ее голову и начал медленно и осторожно целовать шею и ключицы.

– Меня не убьют, мы с тобой повенчаемся...

Через неделю он уехал, еще через четыре недели его рани-

ли, и два месяца, которые он пролежал в госпитале, остались в ее жизни пачкой слегка пожелтевших от времени писем.

Первое письмо Владимира Шатерникова

Уже больше десяти дней, как я в этом госпитале. Тебе нечего беспокоиться за меня, это один из лучших здешних госпиталей. Вечером в нашу большую палату, словно воронье, собираются все костыльные, безногие и однорукие поиграть на балалайках, попеть и посмешить друг друга несмешными анекдотами. Особенно чудесно двое одноруких играют на одной гармонике – настоящие артисты!

По окончании музыкальной части начинаются бесконечные военные рассказы. Тут уж всякий старается как может. Все, если им верить, режут проволоку простым перочинным ножом, наперебой берут немецкие окопы, обходят фланги, бьют неприятеля в лоб и т. д. Я слушаю их и не перестаю удивляться тому, с какой, иногда восторженной даже, любовью эти люди говорят о том, что причинило им недавно боль и страдание и что неизбежно еще скажется на всей их жизни. Ты не поверишь, но эта привязанность к фронту, как я заметил, присутствует даже у умирающих. В одной палате со мной лежит совсем молодой и очень красивый поручик, который вот уже почти полгода умирает медленной и тяжелой смертью. У него прострелен позвоночник, поэтому обе

ноги парализованы. Лежит он на водяном матрасе, весь в пролежнях, не может без посторонней помощи ни привстать, ни перевернуться. При этом нисколько не ноет и не жалуется. Целыми днями играет в преферанс, не выпуская изо рта папиросы. А когда говорит, то говорит только о фронте, при этом без злости, без ненависти, говорит как о самых лучших своих днях и не связывает их ни со своим увечьем, ни со своею, судя по всему, уже близкою смертью.

Я постепенно прихожу к мысли, что в нашем фронтовом опыте есть что-то очень духовно значительное, как будто бы ось всей жизни переходит из горизонтального положения в вертикальное и всё обыденное становится ярким и необычайным. Это как равнодушному и уставшему человеку вдруг полюбить. Иногда мне кажется, будто войну и любовь роднит их общая близость к чему-то самому главному, вечному. Как бы ни страшна казалась нам сама смерть, но звуки немецких и наших снарядов – это ведь и есть те разговоры, которые ведет с нами вечность, и даже я, новичок в этом деле, почти научился прислушиваться к ним не только со страхом, но и с каким-то переворачивающим всю мою душу сильным наслаждением.

* * *

Дачи наскоро заколачивались, дачники разъезжались. Во-

круг еще царило лето, и млели стрекозы на солнце, и птицы всё пели и пели, но астры, которые и в прежние времена начинали тихо умирать с самого своего рождения и сладким настойчивым запахом смерти подзывать к себе пушистых, как вербы, и черных, как уголь, раскормленных гусениц, – астры этим августом запахла сильнее обычного, их головы были густыми, мясистыми. После отъезда Шатерникова Таня заявила отцу, что возвращаться на курсы сейчас, когда идет война, нелепость, что даже императрица и ее дочери работают простыми медсестрами и она должна поступить так же, как поступает большинство девушек.

– Всё это, конечно, похвально, – хмуро ответил отец. – Но ты не рисуй себе эти картинки... всеобщей гармонии. Я вот со всех сторон слышу, что дети, мальчишки, толпами побежали на фронт. Патриоты! А вернутся – если Бог даст, вернутся! – покалеченными, без рук и без ног, пьяницами, неврастениками! На что они жизни положат?

– Но разве защита Отечества...

– Похвально, похвально, – так же хмуро и с оттенком насмешки перебил отец. – Ты только поверь мне: война – это древний и кровожадный инстинкт человечества, не более. В старые времена она и велась так же просто: за земли, за власть, за богатства. Красивые слова появились не сразу. А вот когда они появились, то все стали умными и благородными: война – это уже не страсть к убийству, упаси бог! Она вся облеплена красивыми словами, куда ни посмот-

ришь, кругом одни лозунги! А суть та же самая: кровь и грабеж.

– Нет и еще раз нет! – вскрикнула Таня и ладонью зажала ему рот. – Ты всё видишь в одном мрачном свете! Ты хочешь, чтобы я сидела на диване и читала книжку! Когда все вокруг помогают, все жертвуют...

– Ну, как же! Еще бы! Императрица, дай ей бог здоровья, подходит к солдату и спрашивает: «Пузо болит?» Солдат лежит под простыней, глаза закатил. А там уж ни пуза, ни ног... одно месиво. Знаю, что я тебя не удержу. Ты меня и маленькой не очень-то слушалась, а теперь и подавно. Но ты еще вот что учти: ты женщина, а они, эти раненые, – все сплошь мужчины. Ты ведь уже взрослая, догадываешься, о чем я говорю. Особенно те, которые понимают, что чудом выкарабкались. Это тоже инстинкт, не менее сильный, чем инстинкт войны, и даже намного сильнее. Нужно правильно вести себя. Очень нужно правильно себя вести. Тут особая игра. Понимаешь меня?

Таня стала огненной, платье прилипло к спине.

– Ты хочешь сказать, что я... Что они...

Отец погладил ее по голове и, как он делал это обычно, пропустил через пальцы ее волосы.

– Мне бы ото всего убережь тебя хотелось, – пробормотал он, и Таня вдруг заметила, какие черные и набухшие у него подглазья. – А то тут такое начнется...

Второе письмо Владимира Шатерникова

Вчера вечером я разговорился с одним раненым офицером, который рассказал мне, что ему довелось присутствовать при том, как московские артисты собирали деньги в помощь «бедным солдатам». Веришь ли, меня всего перевернуло! Всё это происходило на Кузнецком Мосту. Он очень живо описал мне, как нарядная, разодетая толпа густо струилась вверх и вниз по улице, яблоку негде было упасть. В толпе мелькали бритые актерские физиономии. И я ведь знаю этих людей, ведь это всё братья по цеху! На углу Кузнецкого и Неглинной стоял Качалов и за большие деньги продавал свои огненные взоры и пару актерских «рыков» проходящим мимо дамочкам. Массалитинов шутками вымогал у собравшихся деньги, восседая при этом на очень нарядной птице-тройке и слегка похлестывая вожжами неподвижных орловских рысаков. Москва, как говорит этот офицер, превратилась в какую-то почти Венецию, на улицах, примыкавших к Кузнецкому, кипел настоящий карнавал, мальчишки торговали цветами, везде пестрели конфетные обертки, дамы, как всегда, заливались глупым смехом, мужчины острили. Короче, гульнули на славу! Не знаю, слышала ли ты об этом событии, но на меня рассказ произвел самое болезненное впечатление. Все газеты

тут же рассюсюкались на тему «бедного солдатака» и «отзывчивого сердца работника сцены». Боже мой! Где же стыд у этих людей? Что бы им хотя бы в мыслях сопоставить то, как скрипит зубами от боли русский солдат, умирая в каких-нибудь бурых болотах, с шуточками этих бритых, напудренных, пьяных сценических «гениев»!

* * *

По дороге в госпиталь – стояло начало зимы, и одна только липа на углу Ордынки и Пятницкой еще удержала несколько дрожащих листьев, таких ярко-черных, как будто обугленных, – Таня лицом к лицу столкнулась с Александром Сергеевичем. От неожиданности она вся залилась густой краской. Александр Сергеевич очень похудел за прошедший год, шея его была почему-то открыта, без шарфа, и выступала из-под мехового воротника пальто нежно и хрупко.

– Ну, вот! Наконец-то! – воскликнул Александр Сергеевич и быстро приподнял руки, как будто собираясь обнять ее. – Я ждал вас всё время.

– Как вы поживаете? Как ваш Василий? – испуганно спросила она.

– Красавица вы. Даже лучше, чем были, – медленно сказал Александр Сергеевич, пожирая ее глазами. – А я ведь без вас тосковал.

– Что ваша жена? – перебила Таня.

– Жена умерла. – Он вздохнул. – Она очень сильно болела, вы помните?

– И как вы теперь? – глотнув серебристого ветра, спросила она.

– Жены больше нет. А сын мой на фронте. Я не смог его удержать. А как вы сама?

– Работаю в лазарете у великой княгини Елизаветы Федоровны, устала, совсем мало сплю...

– Как странно, что раньше мы с вами не встретились...

– Сейчас очень много работы, у Елизаветы Федоровны не хватает сестер, поэтому там особенно нужны...

– Да, много работы, я знаю, – кивнул он. – Прекрасная женщина эта княгиня! А Вася почти мне не пишет, волнуюсь всё время.

– Давно ваша жена умерла?

– Перед самым началом войны, на водах.

– Уехала всё-таки? – ахнула Таня. – Она не хотела...

– Это было нашим последним шансом, – быстро ответил Александр Сергеевич. – Ей нужно было принять курс тамошних вод, лечиться... Я сделал, что мог...

Таня почти перестала дышать и со страхом смотрела на него, пытаясь понять, что это она сейчас слышит: ведь это всё ложь? Он лжет ей?

– Что вы так смотрите? – усмехнулся он. – Думаете, я вам неправду говорю?

– Я думаю, да. Вы сами хотели, чтобы она уехала, и там... Только чтобы подальше. Она следила за вами, вы так говорили... Ведь это вы мне говорили?

– Ну, мало ли что я говорил! – Он вздохнул и отвел глаза. – Тогда многое представлялось в неверном свете. Все эти супружеские споры, скандалы, кто прав, кто не прав – всё это, ей-богу, к делу не относится. Тут черт ногу сломит, поверьте... Зачем мы об этом сейчас говорим? Я счастлив тому, что вас встретил.

– Мне в госпиталь, – заторопилась она. – И вы, пожалуйста, не нужно ничего такого... Я обручена, у меня жених ранен, и мне совсем не до этого...

Он весь просиял своей обжигающей знакомой улыбкой.

– У вас жених ранен, а у меня сын на фронте. Мы с вами друзья, разве это не правда? А Нина уже ни при чем. Когда человек умирает, вся его жизнь уходит вместе с ним. Нет человека – и ничего нет. А что с ним и где он – это неизвестно.

«Зачем он так говорит?» – подумала она, опять чувствуя страх от его особенного голоса и улыбки.

– Вы, значит, невеста? – Александр Сергеевич перестал улыбаться. – И кто же счастливец?

– Владимир Шатерников, известный артист.

– Ну, как же! «Уход великого старца»? Так он ведь старик или я ошибаюсь?

– Ему двадцать восемь лет, – вспыхнула Таня. – А это всего только навсего грим.

– И что это вас занесло на актера! Они ведь играют не только на сцене, это особая людская порода: не могут они *не играть*. Я вас от души уверяю, что актер, случись ему, скажем, оказаться где-нибудь в пустыне, где нет никого, кроме верблюдов, – он и там будет играть какую-нибудь роль, ему и зрители не нужны...

– Перестаньте! – попросила Таня. – Вы-то не поехали сражаться! Как же вы говорите такое?

– Да я и не мог бы «сражаться». Куда мне... – Александр Сергеевич иронически приподнял брови. – Простите. Всё это от ревности.

– Какой еще ревности? Прощайте! – Она отвернулась и, не рассчитав, шагнула прямо в снег. В ботинки сразу набился обжигающий холод. – Я очень тороплюсь.

– Куда вы торопитесь, Таня! – Он загородил ей дорогу. – Куда вы всё время бежите и рветесь? Хотите в синематограф? Вы любите фильмы?

– Я, правда, не знаю, – прошептала она, чувствуя, как холодеет нога. – Сейчас не до этого.

– Во сколько вы завтра свободны? – Александр Сергеевич близко наклонился к ней. – Заеду за вами, когда вам удобно.

Третье письмо Владимира Шатерникова

Сегодня весь день лил дождь, но при этом было тепло. Не скажешь, что осень. К вечеру небо

расчистилось и переполнилось звездами. Вспомнил, как в детстве я до страсти любил смотреть на звезды, давал им человеческие имена. Не так давно, при отъезде из Питера, стал разбирать фотографии, хотел взять с собою на память штук двадцать, особенно больно было расставаться с теми, где родители. Посмотрел и на себя самого. Вот мне четыре года, вот я младенец в коляске, и няня стоит рядом – гордая, что ее снимают, – вот я гимназист, уши оттопырены, глаза нагловатые, а вот я на съемках «Великого старца». И знаешь, что поразило меня? Ведь это всё – разные люди. Что общего у гимназиста с оттопыренными ушами и человека, который пытается изобразить графа Толстого, горбится перед зеркалом в крестьянской рубаше и двигает только что наклеенными бровями? Что общего между малышом в матроске, сидящим, как кукла, на руках у матери, и тем юнцом, которым я был еще недавно, когда собирался на фронт? В голову мне пришла странная, может быть, но до удивления ясная мысль: а не проще ли предположить, что всякий из нас проживает здесь, на земле, не одну, как нам кажется, а несколько жизней? Не знаю, смогу ли объяснить тебе, насколько эта мысль вдруг перевернула меня всего. Ведь я, который был малышом на материнских руках, давно исчез, и только память роднит меня, сегодняшнего, с ним, так же, как когда-нибудь исчезнут тот «я», который сейчас пишет тебе это письмо, и появится кто-то другой, которого я сейчас не знаю и даже не могу догадаться, как он будет выглядеть. А что

же такое тогда смерть? Что происходит с этим самым «последним» человеком, которым станет каждый из нас? Он уйдет и закроет дверь за всеми – малышом, подростком, стариком и, наконец, умирающим. И тут же я подумал: разве это верно – сказать «закроет»? Разве не наоборот? Со смертью этого последнего «я», может быть, дверь-то и открывается, наконец, по-настоящему?

Видишь, каким философом становлюсь я от нашего госпитального безделья. Скорее всего, это происходит потому, что и там, на фронте, и здесь, в больнице, смерть слишком уж близко подступила ко мне, она подошла вплотную, и только надежда, что Бог не захочет разлучить меня с тобою так скоро, спасает от страха, неизбежного сейчас. Ведь здесь над каждым из нас, как ястреб над цыпленком, висит опасность, что рана в любой момент может оказаться смертельной, начнется нагноение, подыметесь жар, пойдет заражение и т. д. Иногда, когда я смотрю на особенно тяжелых больных, мне начинает казаться, что они уже и не люди, а просто придатки к своим кровотокающим, раздробленным конечностям. Каждый из них, засыпая вечером, боится, что завтра утром, когда доктор на осмотре откинет одеяло и приляжет к зловонию, которое сочится из-под бинтов, отдаст приказание на операцию, и тогда раненого положат на стол, натянут на лицо удушливую маску и, превратив его в онемевшую тушу, отрежут эту загнившую ногу или заново раздробят череп.

Прости, что пишу тебе всё это. Но я ведь знаю, какая

ты, я не ошибаюсь в тебе. Даже в твоей очаровательной хрупкости чувствуется присутствие той душевной силы, которая поразила меня в первую минуту, когда я только увидел тебя. Если бы ты знала, как я всю тебя помню: твои глаза, когда ты сказала «женитесь на мне, и я буду там, с вами», и то, как ты вся побелела, узнав, что я ухожу на фронт, и как ты крепко, до боли, обняла меня, когда мы прощались. Ты лучшая на земле, самая сильная, самая прекрасная. Я не должен умереть, так я хочу снова обнять тебя, почувствовать твои губы.

* * *

Василий Веденяпин, сын доктора Александра Сергеевича Веденяпина, уходя на фронт, стремился не только к защите Отечества, но и к тому, чтобы как можно быстрее забыть свой последний год в родительском доме. Известие о смерти матери пришло через три дня после объявления войны, и если бы не война, это известие должно было убить его, потому что страшная вина перед матерью, которую он знал за собой, не могла быть исправлена теперь, раз матери нет больше. Отец много раз объяснял ему, что мать заболела не только болезнью легких, он объяснял, что рассудок ее пострадал в результате этого легочного заболевания, мать начала совершать одну ошибку за другой, и даже любовь ее к сыну дошла до полного абсурда. Василий старался прислушаться

к тому, что говорил ему отец, но внутри себя не соглашался с ним. Теперь, когда матери не стало, она всё чаще и чаще приходила ему на память не той, какой была в последний год, когда, если верить отцу, рассудок ее был уже болен, а той светловолосой и голубоглазой мамой, которая учила его плавать в Коктебеле, и волны накатывали на них обоих, накрывали с головой, и мамино смеющееся и испуганное лицо вдруг крепко прижималось к его лицу под водой, а ее длинные волосы расплзались во все стороны, как водоросли, пока они вместе, отхлебываясь и хохоча, выныривали на поверхность. Или он вдруг вспоминал, как она, поручив его няне, когда у него была высокая температура во время очередной болезни, уезжала куда-то на час с небольшим и возвращалась, запорошенная снегом, в большом заиндевавшем капоре, входила к нему в комнату с красивой коробкой, перевязанной синими или розовыми блестящими лентами, и лукавая, радостная от того волнения и счастья, которое сразу же освещало и его красное от жара лицо, вынимала из этой коробки чудесный подарок: клоуна с раскрашенными фарфоровыми щеками, у которого руки и ноги приводились в движение с помощью особого устройства, вставленного внутрь его опилочного живота, или красивый поезд с закутанным в белый тулуп стрелочником.

Еще и раньше Василий замечал, что стоило им – ему, маме и отцу – остаться втроем, как родители тут же начинали ссориться, и он неизменно оказывался причиной их ссор и

скандалов. Он редко видел отца, который постоянно пропал на работе, и поэтому, когда тот ненадолго оказывался дома, хотелось приласкаться к нему, взобраться на колени и изо всех сил надышаться запахом крепкого, вкусного, щекочущего ноздри одеколона, идущего от впалых отцовских щек. У мамы же, напротив, при виде отца почти всегда изменялось лицо: оно становилось напряженным и немного капризным, как будто мама не хотела, чтобы отец хоть на секунду забыл о том, что ей плохо с ним и даже ее улыбка есть не что иное, как результат тяжелой внутренней борьбы. Иногда Василий пытался понять, что же на самом деле происходит внутри родительской жизни, но каждый раз заходил в тупик: он любил отца – он точно знал, что любил его, – но маму он не просто любил, он обожал ее почти до страха, и когда она раз в месяц объясняла, что больна, и по несколько дней не выходила из своей комнаты, он чувствовал такую тоску, от которой ничто не спасало, даже отец с его вкусно пахнущими впалыми щеками.

После того, как всё это началось: мамина слезка за ними обоими, ее крики, исступленные требования и то, что отец в конце концов снял ей квартиру, и наступила зима, за время которой Василий видел маму всего два-три раза, пока она не уехала за границу лечиться, – после всего этого объявление войны, на три дня опередившее телеграмму о маминой смерти, было подобно тому, как если бы во всем мире вдруг погас свет. Всё разом потеряло смысл. Незачем стало учить-

ся, например, или заботиться о будущем. Зато теперь он, по крайней мере, знал, что ему делать. На похороны они с отцом не поехали, отец выслал деньги, и маму похоронила ее кузина, жившая на юге Франции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.